

БИО
ГРАФИЯ

A detailed oil painting of an elderly man with a thick, grey beard and mustache. He is wearing a black top hat and a dark coat with a large, white, ruffled cravat. The background is a dark, textured grey.

Франц Верфель

Верди. Роман оперы

ФТМ

Франц Верфель
Верди. Роман оперы
Серия «Биография (ФТМ)»
Серия «Исторические хроники»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162279

Верди. Роман оперы: Литературное агентство ФТМ; Москва; 2018

ISBN 978-5-4467-3154-1

Аннотация

Автор книги, известный австрийский писатель Франц Верфель, рассказывает о жизненном и творческом пути великого итальянского композитора, освещая факты биографии Верди, малоизвестные современному читателю. В романе раскрывается противостояние творчества Верди и Рихарда Вагнера. В музыке Верди Верфель видел высшее воплощение гуманистических идеалов. И чем больше вслушиваешься в произведения великого итальянского мастера, тем больше ощущаешь их связь с народными истоками. Эту «антеевскую» силу вердиевской музыки Верфель особенно ярко передал в великолепной сцене венецианского карнавала, бесспорно, принадлежащей к числу лучших страниц его романа.

Содержание

От автора	4
Глава первая	7
Глава вторая	31
I	31
II	33
III	42
IV	58
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Франц Верфель

Верди. Роман оперы

От автора

План этой книги был намечен еще двенадцать лет тому назад. Но написание ее все отодвигалось. Колебания художника действовали парализующе: колебания, какие неизбежно возникают при создании исторического повествования. Оно разворачивается в двух плоскостях – поэтической и исторической, в вымышленном мире и в мире исследуемой действительности. Уже отсюда легко возникает дисгармония.

Эта дисгармония тем резче, чем ближе к нам время действия повествования. А уж когда изображается вчерашний день, который слишком многие пережили сами, читатель бывает вдвойне щепетилен, – и беда, если автору изменяет чувство правды.

Но труднее всего устранить дисгармонию, когда создается роман, посвященный человеку искусства. При изображении людей, углубленных в себя, прославленных гениев, при изображении творческих процессов легко сбиться на фальшь, гиперболу, фразу. Здесь писатели немало погрели.

Но никогда не следует бояться опасностей чисто эстетического порядка. Нужно только доказать на деле, что их нет.

Причина долгого промедления лежит много глубже. Она в самом герое повествования.

Человек, который всегда боялся публики, называл газеты бичом своей эпохи, объявил незаконным посмертное печатание писем; который (по словам Россини) потерял в Париже все шансы на успех, потому что гнушался наносить визиты; который жил в своей усадьбе, как в неприступной крепости, — такому человеку выступить героем романа! Разве не стал бы он всеми силами от этого отбиваться?

Любовь, воодушевление, неизменная страсть к его музыке, одержимость ею, углубление в его творчество, жизнь, человеческую личность — все это в конце концов победило. Правда, он сдался лишь на известных условиях. Как в старых книгах предисловие взывает к снисходительности читателя, так в этой работе приходилось просить снисхождения у строгого героя, который не потерпел бы и ничтожного посягательства на свою правду. Однако и точнейший биографический материал, все факты и противоречия, толкования и анализы еще не составляют этой правды.

Мы должны добыть ее из всего этого, — да, создать ее сперва, более чистую, подлинную правду, правду мифа, *сказание о человеке*.

Маэстро сам высказывается за нее, когда в одном своем письме приводит тайну искусства к следующей великолепной формуле: «Отражать правду, может быть, и хорошо, но лучше, куда как лучше, правду создавать...»

Брейтеништейн, Ф. В., лето 1923 г.

Глава первая

Концерт в театре Ла Фениче

Лунное таинственное марево волшебного теплого сочельника, стелясь по воде, проникало в портал театра Ла Фениче и озаряло мрачный вход в длинный коридор, который вел прямо к ярко освещенному фойе; у окрашенной в медную яркости стены, недвижные в черноте канала, поодаль от лестницы и свай выстроились вдоль набережной несколько гондол.

Гребцов, которые вообразили было, что им удастся послушать оперу, и прокрались вслед за господами в надежде насладиться пением через щелку или даже с бесплатных стоячих мест, постигло разочарование. Оркестр (все музыканты в черных парадных костюмах) исполнял нескончаемую, громко-скучную музыку. И музыка эта шумела ради десятка-другого слушателей. Неужели сейчас, в декабре месяце, в пору *stagione*,¹ нельзя было исполнить что-нибудь получше!

Гондольеры давно уже сидели в одной из таверн на Кампо дель Театро. Время от времени кто-нибудь из них вставал посмотреть, не кончилась ли эта канитель. Впрочем, по части музыки они не остались внакладе. У открытой двери соседнего кабака примостился инвалид в порыжелом мундире давно забытого покроя и зажал в коленях маленькую

¹ Театральный сезон (*итал.*).

виолончель на высоком шипу. Жалобно пела под его смычком о горькой своей судьбе средневековая гамба, неведомым путем забредшая в современность. В таверне, где смеялись и спорили ожидавшие, подвизались два уличных певца: мальчишка с мандолиной и слепая старуха с пустыми страшными глазницами и пронзительно звонким тенором. Прибавьте к этому, что почти все прохожие, пересекая площадь, напевали обрывки какого-либо мотива, мурлыкали, насвистывали, что из хлопавших дверей то и дело вырывались наружу мелодические крики, зовы, смех и что каждые четверть часа со всех колоколен обрушивался в эту ночь на Венецию благоговейно взволнованный звон.

Над главным порталом большого блистательного театра, где красуется лазурно-золотой эмблемой поющий лебедь, пламенел газ в двух огромных матовых шарах. Золотая решетка у входа была не заперта. Перед ней не дежурил сегодня человек в золотых галунах, и даже продавцы либретто, которые обычно в продолжение всего спектакля своим неистовым «*Libri dell' opera! Libri dell' opera!*»² оглушали стоявший напротив невозмутимый собор, сегодня отсутствовали.

На широких мраморных ступенях, ведущих из большого фойе к ложам, играли отсветы открытых, горевших в чашах или за решетками огней.

Преувеличенно резкая тень покрыла обе ниши, где стояли свидетели былых времен: в правой – белая печь в стиле ам-

² Брошюры с текстом оперы, либретто (*итал.*).

пир, в левой – громадная презрительно-насмешливая голова Джоаккино Россини, «воздвигнутая иждивением общества» в 1869 году.

Две сверхэлегантные дамы в кружевных мантильях на завитых головах – точно собрались на торжественную папскую мессу – смущенно и нерешительно вошли в пустое фойе. Как спокойно входили они обычно в это здание к концу первого акта, потому что опоздание считается у знати хорошим тоном. Но сегодня они встревоженно и торопливо пошептались, оттесняя друг дружку от зеркала, подправили локон, припудрили щечку, повертели боками и наконец, никем не задерживаемые, подобрав длинные юбки, взбежали по лестнице и скрылись в ложах бенуара.

Теперь торжественно освещенное фойе и вовсе опустело, и буфет в глубине стоял без надзора, хотя там можно было видеть стройный ряд бокалов с шампанским и блюда с закусками – все явно не на продажу. Отчетливо слышалось в глубокой тишине гудение газовых фонарей. Только время от времени сквозь плотную обивку прорывалось tutti оркестра: одиночные угрюмые аккорды, – как бывает, когда неслышимый разговор в соседней комнате, вдруг переходит в спор и перемежается запальчивыми дерзкими словами.

Зато длинный коридор, ведущий от вестибюля к Каналь ла Фениче, освещали только три керосиновые лампы над запасными входами. Темный, тянулся он вдоль исполинского корпуса зрительного зала и сцены, который, казалось, ви-

сел подобно морскому паруснику в доке. Две лесенки вели к входным дверям с круглыми оконцами, откуда лучом летнего дня глядел в темноту зеленовато-желтый праздничный свет. В щели можно было также разглядеть конструкцию подполья сцены, где при свете подслеповатого фонарика пожарный предался своей апатической профессиональной грусти.

В полумраке коридора гулками шагами прохаживался старый человек в темно-зеленой ливрее театрального служащего. У него была седая раздвоенная борода а-ля Франц-Иосиф, нарочно изобретенная для того, чтоб она не прикрывала на груди ордена и всякие знаки отличия. Такая борода была здесь не в редкость среди стариков, ибо рассказ наш относится к 1882 году и со времени освобождения Венеции и объединения Италии протекло лет десять с небольшим.

Старик возбужденно и угрюмо разговаривал сам с собой. Казалось, он был недоволен своею сегодняшней службой. Шумно шагая взад и вперед, он точно решил повысить протестом собственное значение, показать людям в зале, что он на посту, и в затаенной злобе всячески мешать игре. Вдруг он поднял голову; его сутулая фигура стала внушительной, и с важной медлительностью полицейского, направляющегося к месту происшествия, он двинулся навстречу господину, который спокойно шел по коридору.

– Нельзя сегодня! Ingresso³ воспрещается! Здесь частное

³ Вход (итал.).

празднество.

Остановленный таким порядком господин был в темно-коричневом пальто и держал в руке черную широкополую шляпу. Он спокойно остановился перед ливреей и поднял на ее носителя спокойные, очень синие, чуть влажные глаза, взгляд которых как будто вернулся из блужданий в далях. Эти смелые, рассеянно-мечтательные глаза затенял сильно выпуклый лоб, и выражали они не досаду, а легкое удивление, что кто-то отважился задержать его. Несмотря на нестриженую короткую бороду, почти сплошь серебряную, на мягкие, юношески густые волосы – они красивыми завитками падали на большое, пластичное и все-таки жадно раскрытое ухо, – несмотря на то, что эти волосы добела посеребрили, никому не пришло бы в голову сказать, что перед нами старик.

Этому противоречил в меру высокий, экономно, как корпус скрипки, сложенный стан, изящный, дышавший под плащем той спокойной непринужденностью, которая в десять раз убедительней говорила о молодости, чем могло бы ее доказать нарочитое напряжение. Большой горбатый обгорелый нос, сложная система складок и складочек вокруг глаз, поминутно щурившихся даже в темноте – словно бы на воображаемое слепящее солнце, – придавали лицу то улыбку крестьянина, который в широком зареве заката озирает свою пашню, то дерзкий взор отважного корсара, который смотрит со своего утеса в морскую даль; но чаще всего – спокойствие

знатного человека, преодолевшего все сомнения и проникшего издавна сознанием своего достоинства.

Боги с их атрибутом вечной молодости не всегда изображались юношами – чаще мужами зрелых лет: Юпитер, Нептун, Вулкан! Так и на этом лице старость была лишь прекрасно преобразившейся формой божественной юности и вневременности.

Господин, рассеянно посмотрев на служителя долгим и медленным взглядом, приготовился двинуться дальше.

Тот повторил строже:

– Вход воспрещен! В театре празднество!

Тонкие морщинки вокруг глаз господина заиграли дразнящей усмешкой.

– Вот как! Значит, мне придется повернуть назад, Дарио?

Старик с австрийской бородой осекся, ахнул, его как молнией ударило, он выкатил красные глаза и начал сам себя бить по щекам:

– Осел я! Болван я! Скотина! Он меня узнал, а я его нет. Ох, синьор маэстро!.. Что ж это со мной?... Сердце так и колотится!.. Вы нисколько не изменились, а я вас не узнал... Вы нас почтили! Вот неожиданность!.. Клянусь Вакхом! Давно вы нам не оказывали этой чести, синьор маэстро!.. Погодите: в последний раз вы нас почтили в шестидесятом году... Нет, в пятьдесят девятом, в последний стаджоне перед войной... У меня с перепугу помутилось в голове... Может, еще раньше, когда вы ставили тут «Бокканегру»...

Много вещей играли тут с тех пор, синьор маэстро, много новых вещей! Но все они никуда не годятся! Между нами говоря, синьор маэстро!

– Я рад, что вы по-прежнему при театре, Дарио!

– Ветеран, бедный ветеран!

Дарио, наэлектризованный, стал в позу:

– Я тут работал еще при постановке «Эрнани»... Вот это красота, это музыка! «*Si ridesti il leon di Castiglia...*»⁴ Это музыка! Это красота! Я знаю все наизусть... И меня... меня, такого знатока, они на старости лет сослали сюда, вниз, и поставили помощником билетера... Сорок лет служил я там – наверху, пел в хоре, статистом выступал, работал осветителем, механиком, при занавесе... Вы меня узнали, синьор маэстро, вы меня узнали!.. Все господа маэстро знают меня... Вы нам всегда щедро давали на чай. А за удачную грозу в «Риголетто», бывало, приплачивали особо. Ах, ужас какой!.. Вы нас почтили! Да разве здесь вам стоять! Вам должны устроить прием... Побегу к секретарю!

– Ни в коем случае! – Верди схватил Дарио за рукав. – Ни слова никому, что я тут был. Я провел в Венеции один день и ночью еду домой... Мне просто пришла фантазия заглянуть в ваш старый театр...

– Понимаю! Молчу! Инкогнито! Прибыл в гости король!

– А что там такое? – Маэстро легким кивком головы указал на зрительный зал. Он отлично знал, что там происходит,

⁴ «Если б кастильский лев воспрянул...» (*итал.*).

тем неприятнее было ему задать этот вопрос.

– Там? Немца чествуют!

– Какого немца?

– Да того самого, у которого сегодня день рождения. Или день рождения у его жены... А может быть, они ради святого праздника закатали такую музыку...

Дарио с явной неохотой говорил на эту тему. Он вдруг покосился на свои убогие, разношенные сапоги; маэстро почувствовал неловкость.

– Как зовут немца?

– Вагнер. Арриго, или Рикардо, или Федериго... что-то в этом роде. Играют его *sinfonia*. Он сам отбивает такт: *Sinfonia* длится битый час, а за нею никакой оперы. Вообще этот Вагнер – путаная голова и сущий дьявол. Про него рассказывают всякое!

– Что же про него рассказывают?

– Он хочет отменить в театре антракты. Вы подумайте только, синьор маэстро! Слушай подряд три, четыре, а то и пять актов, ни встань, ни повернись, слова не скажи, ни разу не чихни – целую опера-балло! Что это за глупость, я вас спрашиваю? Кому это надо? Прослушал человек один акт в свое удовольствие, а там хочется ему поразмяться, покурить, публику посмотреть, разговор завязать, посудить о певцах... Так нет же, нельзя... хотят запретить, как уже запретили «бисы».

– В этом все его злодеяния?

– Ох? Слышал я и кое-что похуже! В одной своей вещи этот еретик вытаскивает на сцену святое причастие. Такое ведь кощунство! Да и разве это для сцены?

Маэстро, казалось, давно перестал слушать. Взгляд его снова блуждал где-то вдали. Только после некоторой паузы он спросил совсем равнодушно, как будто хотел по какой-то причине затянуть разговор:

– А что, по-вашему, «для сцены», Дарио?

Дарио замялся, потом осмелел и, широко взмахнув рукою, воскликнул:

– Хорошая ария! Такая ария, чтобы каждого понимала. Опера с хорошими ариями...

В это мгновение финальный с-dur'ный аккорд торжественно оборвал музыку на самом высоком крещендо разбушевавшихся литавр. После короткого всеобщего молчания, какое обычно наступает сразу под впечатлением такого рода музыки, разразились рукоплескания, затем прорвались долго сдерживаемые выкрики «эввива!». Юные музыканты, по большей части ученики лица Бенедетто Марчелло, чествовали композитора. Дарио пробормотал огорченно:

– Я должен теперь прислуживать там, у буфета. Моя обязанность, ничего не поделаешь! Уж вы меня извините!

Сухоньким стариковским шажком он засеменил к фойе. Однако на ходу этот театральный уникум еще раз обернулся с простодушным и спесивым видом:

– Синьор маэстро! Подождите меня тут. Они там недолго

проканителются. Я мигом к вам назад.

Верди сам удивился, что слова служителя почему-то его сковали. Он еще успел бы пройти весь длинный пустой коридор и вернуться на свою гондолу. Но в странном смятении ему самому непонятных чувств, среди которых любопытство занимало последнее место, он остался, даже сделал несколько шагов вперед, к фойе.

При этом им все более овладевало тяжелое, мучительное чувство, наследие трудной молодости и в детстве еще испытанных унижений, которые не могла изгладить вся его последующая жизнь, все неслыханные триумфы, блистательные победы пред лицом Европы. То было чувство, будто он незванный, непрощенный вторгся в чуждый и замкнутый круг. Болезненная робость, горький стыд – в шестьдесят девять лет.

Между тем праздничное общество, состоявшее преимущественно из молодых музыкантов лица Марчелло, наводнив фойе черными фраками и сюртуками, потянулось к буфету. Под шумное хлопанье пробок и быстрые стаккато итальянской болтовни слышались широкие звуки немецкого языка с приглушенной, на неполном выдохе, вокализацией. Эти звуки становились все более связными, и наконец можно было расслышать тосты, поминутно заглушаемые звоном стаканов и возгласами «ура!».

С безошибочной силой памяти, присущей очень энергичным людям, маэстро узнал несколько лиц, мимолетно знако-

мых ему с прежних времен. Вот граф Бонн – директор Венецианской консерватории, аристократ от искусства, который теперь со всею бесполезной суетливостью устроителя носится по залу; далее кларнетист Каваллини – некогда концертный корифей, сошедший ныне на скромные роли оркестранта и преподавателя; и наконец, ведущий музыкальный критик «Персеверанцы» – Филиппо Филиппи.

Господин Филиппи, не так давно извивавшийся в лести, чтобы получить от Джузеппе Верди чуть ироническое письмо, был из тех музыкальных критиков, которые не отличаются ни писательским, ни музыкальным дарованием, но так ловко шагают в ногу с временем, перепархивая от одного направления к другому и тонко спекулируя на бирже моды, что достигают все большего влияния и, пройдя долгий искус самоунижения и бесстыдства, утверждаются в конце концов на своем почетном троне.

Маэстро искал, где бы спрятаться, – он узнал теперь еще и Листа, – но вместо того чтоб уйти поскорей из театра (отступление не было еще отрезано), быстро взбежал по ступеням и стал у двери в зрительный зал. Здесь, на возвышении и в темноте, он чувствовал себя надежно укрытым.

Il cerchio⁵ закончился. Вот уже пробежали мимо Верди вниз по коридору проворные мальчишки, торопясь подать гондолы. За ними следом прошли дети Вагнера, двое подростков, поводя вокруг зачарованными глазами, блестящими

⁵ Здесь: чествование в узком кругу (*итал.*).

ми от непривычного возбуждения и оттого, что им разрешено было не спать в этот поздний час. Детей сопровождал их дедушка – аббат, который в разговоре с ними полукокетливо, полунаставительно растягивал слова.

Появился и сам великий человек, а за его спиной теснилась толпа. Вагнер накинул поверх фрака светлое пальто и держал в руке цилиндр. Череп, поросший белым пушком, и непомерно выпуклый лоб мерцали, будто освещенные изнутри волшебным светом. Маленькое тело выпрямилось под напором внутренней страсти, беспокойно рвавшейся наружу в жажде выразить себя. Он говорил по-немецки громко и экспансивно, утрируя дифтонги и смягчение гласных; он поучал, разъяснял, шутил, первый приветствуя свои остроты безудержным заразительным смехом. Никто, казалось, не замечал, как дребезжал и подрагивал земной сосуд этой мощной жизненной силы – бедная перегруженная машина. Только идущая рядом жена нервно следила за ним, старалась его успокоить, унять его речь, поторопить его шаг, поскорей избавить его от свиты.

Молодые люди, к которым Вагнер обращал свои слова и жесты, были вне себя. Глазами одержимых пустынников, разинутыми ртами пьяниц, свистящим дыханием фанатиков пили они слова, непонятные им, – нет, не слова: пили звуки, пили жизнь другого человека, – жизнь, которая своею полнотой, своею скрытой силой, казалось, в десять раз превосходила всякую другую жизнь.

Маэстро Верди спокойно стоял в тени, на возвышении, в нише дверей. Когда опьяненная толпа надвинулась ближе, его пронзила мысль, что, несмотря на неистовую бурю ликований, в которой прошел он через жизнь, на факельные шествия, которые ему устраивали, на поклонение, которым его окружал народ – действительно народ, – вся эта дань восторга воздавалась, в сущности, не ему, не творцу мелодий, но самим мелодиям. Имя его – пять букв, пламенных знаков возвышения Италии – обратилось в символ. Но личность за этим именем, за этим творчеством оставалась в тени, жила в неизвестности по ту сторону своих дел и побед. А тот, другой, что сейчас остановился в четырех шагах от него, чтобы начать новую речь, – его творчество еще горит беспокойством, вносит разлад в среду людей, с глумливым презрением похитило у него, у Верди, немало друзей, выводит из равновесия самые спокойные души, нависло над духовным миром исполинским облаком, которое одно лишь источает краски, тени, свет... Но видя эту фигуру в толпе, маэстро остро почувствовал еще нечто: здесь не творчество, здесь – человек!

Как у подлинного узурпатора, у корсиканца, здесь личность и ее творение – одно. Лишь себя самого он увековечивает ежечасно, и нет человека столь ничтожного, чтоб он пренебрег отметить его огненным своим клеймом; ступил на камень, и камень – его вассал. Дело его связано с ним неразрывно, слава его – он сам, и доколе он может излучать в даль

времен свою горячую жизнь, до той поры он бессмертен.

Вагнер остановился прямо у ниши, где прятался маэстро. Кто-то заговорил по-французски, и композитор поспешил ответить также по-французски. Подбирая слова, он повернул голову вбок и заметил человека наверху, в тени.

Верди сразу преобразился. Светлая кротость, озарившая на старости его лицо, отступила: в нише стоял угрюмый и замкнутый человек, каким был он в молодые годы. Очень синие, глубоко посаженные глаза стали холодными. Взгляды обоих скрестились. И это мгновение стало событием.

Драмы созвездий протекают в веках, драмы человеческой истории – в часах, днях, годах. Но событий душевной жизни не измерить ни временем, ни рассудком.

Взгляд Вагнера встретил незнакомое и очень чужое лицо, над которым ему не дано было власти, – лицо человека, который замкнулся в себе и не улыбался ему льстиво, как улыбались все другие. Встретил взор, упоенный гордостью и неприступным одиночеством, неутомимую силу, которая в нем не нуждалась, которая действовала и утверждала себя без затаенного властолюбия.

Взгляд Верди встретил сперва вопрошающие, изумленные и даже встревоженные глаза. Но смущение тотчас исчезло, и снова загорелся в них присущий им огонь: домогательство любви, воля к обольщению, что-то почти по-женски властное, вечная неутомонность, немой самоупоенный призыв: «Будь моим!»

Общество скрылось в темном портале. Была слышна перебранка гребцов.

Маэстро все еще неподвижно стоял на месте. Лицо его было снова добрым и спокойным – лицо его зрелых лет. Медленно угасал отблеск обошления на этих милых чертах.

Подошел Дарио. Он был сам не свой:

– О синьор маэстро! Я бы должен объявить, что вы оказали нам честь прийти сюда, возвестить бы должен... Я допустил оплошность. Теперь меня рассчитают, прогонят меня за проступок по службе. Ведь вы – лицо государственной важности! Стало быть, меня могут даже засадить в тюрьму. Мадонна! Нам тут случалось принимать членов королевского дома. Тогда все шло по регламенту и, знаете, совсем как в прежнее время, когда жаловали к нам августейшие члены императорской фамилии, распроклятые эрцгерцоги. Все было расписано: ты стой здесь, ты – там! И когда приезжал к нам император Наполеон, тот самый, которого велел пристрелить какой-то немец – не то Радецкий, не то Бисмарк, – так и при нем то же самое... Синьор маэстро, не позвать ли мне все-таки секретаря?

– Не мелите вздор, Дарио! Молчите – и все! – В руку болтуна проскользнула монета.

Неестественно яркий месяц властвовал над Венецией. Туманы, мягко сверкая, стлались по каналам, где не видно было больше барок и гондол. Замерла в воздухе последняя волна колокольного звона. Искраженные, застыли белым оскалом

трупов каменные маски у Врат Падения.

Положив перед собой английский ручной саквояж, маэстро сидел на мягком сиденье гондолы – в этой «трясине безволия», как он всегда называл ее в мыслях. Мир малых каналов был мертв. Не вступит человек на крытые подъемы мостов, не шевельнется тень под фонарями низких портиков. Только изредка гребец при повороте за угол кинет вдаль с высокого носа гондолы свой древний оклик, оскорбляя белокурую аристократку – городскую выродившуюся ночь.

Такт за тактом человек погружал в воду весло, но казалось, это была не вода, а нечто более сложное, подобие человека. Еле заметно акцентируя, лодка скользила вперед пока не иссякала сила толчка. Потом снова взмах весла, и снова толчок: длинная нота, короткая нота, длинная, короткая. Это движение было родоначальником всех баркарол. «Венецианский счет на шесть восьмых» – так окрестил его однажды Верди в ту пору, когда работал здесь над «Риголетто».

Сегодня от этого ритма ему становилось не по себе. Он не любит воду. Он боится морских переездов. По случайности ли он едва не утонул недавно в маленьком пруду своей усадьбы Сант-Агата? Вода – это бездна. Непроглядная бездна, она лежит вне его власти. Все хроматическое должно только служить ему, но не овладевать им.

Душевное беспокойство, мучившее его много лет, в это мгновение перешло в тревогу. В своем пристрастии к чистоте отношений он старается дать себе отчет в этих последних

трех днях. Ритм гребли с его тихой, возбуждающей неравномерностью направлял ход мыслей: «Двадцать первого я выехал из Генуи... Пеппина была недовольна. Отсюда размолвка. Понятно! Она не любит отпускать меня в поездки одного. Мне шестьдесят девять лет... Так ли важны были эти дела в Милане?... В Генуе мне казалось, что очень важны... Кое-какие пункты в договоре на новое издание „Бокканегры“, постановка „Дона Карлоса“ в Вене!.. В конце концов Рикорди мог бы и сам приехать ко мне. Но время от времени не мешает нагрянуть к издателю лично... Ведь это же сплошной бесконтрольный грабеж!.. Еще бы!.. Даже у бухгалтеров при моем появлении взгляд становится лукаво-растерянным. А Бой-то? Его „Отелло“ недурен. Его „Отелло“ превосходен!.. Но что за дикая мысль! Я больше не буду писать. Если к шестидесяти годам я выдохся, природа должна сойти с ума, чтобы я мог на семидесятом сочинить хоть четыре такта. Придется праздно доживать свой век... А если я напишу и поставлю новую оперу? Публика примет ее снисходительно, даст ей дорогу из почтения к „маститому композитору из Сант-Агаты“ и к репертуару шарманок... Важные критики по всей Европе будут писать все то же, что они пишут обо мне после „Дона Карлоса“: я, оказывается, посредственный эпигон Вагнера; я подслащиваю его гармонию; силуясь перевести его возвышенную полифонию на простецкий язык своей буссетанской музыки...

Ах, не надо, не надо!..“

Подобно реву хищника в пустыне, оклик гондольера потряс глухую ночь. Маэстро ощупал свой саквояж: «Лир» – мое проклятье! Правда, я стал здоровее. Я давно справился с хронической ангиной, которая меня преследовала в молодости. Я избегаю через две ступеньки на пятый этаж, и сердце бьется ровнее, чем двадцать лет тому назад. Но эта чувствительность – несомненно следствие возраста. А то с чего бы недавно, перечитывая после бесконечного перерыва свои «Nabucco» и «Battaglia di Legnano»,⁶ я несколько раз заплакал?... Старье! Там нет на каждой фразе перемены счета, нет бекаров, запрещенных квинт, вычурных модуляций, «переченья» и прочей модной мишуры. Но зато в этом старье есть какая-то... какая-то мощь! Для меня, ни для кого больше! Баста!.. Да и эта моя поездка в Венецию тоже ведь одна сентиментальность. Разве раньше я так разволновался бы?... Рикорди рассказывает мне, что старый Винья при смерти. И ох как сжалось у меня сердце! Я в тоске увидел перед собой Венецию пятьдесят первого – пятьдесят третьего года. Винья! Вот был человек! Товарищ, искатель, исследователь! до трех часов утра мы с ним, бывало, ходим по улицам, поочередно провожая друг друга!.. Такой ведем разговор, что головы горят... А Галло? Наш добрый Галло, шутник и циник, истый венецианец, грубый и благодушный, последний импресарио славной и нечестивой школы Барбайи и Мерелли, которого не сохранит – увы! – ни один музей.

⁶ Оперы Верди – «Навуходоносор» и «Битва при Леньяно».

И вот, всегда тяжелый на подъем, я сажусь в поезд и мчусь сюда... Но когда сам становишься стар, лучше не навещать обиталище смерти! Лежит на кровати бедный ссохшийся человек. Держишь липкую руку... Почитаемый врач сам себе не в силах помочь!.. Вот так и через тебя перешагнет современная наука! И через тебя!..»

В мозгу маэстро вдруг пронеслось мучительное подозрение: «Действительно ли я приехал в Венецию только ради больного друга? Больше ничто не тянуло меня сюда? Или я сам себя обманываю?»

Гондола скользит мимо Сант Анджело в Большой канал. Туман отступил, разогнан; шеренгу дворцов, колышась, осаждает бесформенная серебристо-чешуйчатая гладь. Впереди, совсем близко – камень долетел бы, – устало покачиваются три гондолы. В них Вагнер со своей компанией возвращается домой из Ла Фениче; не простые наемные лодки, как та, в которой едет маэстро, – очень аристократические гондолы, в каждой по два гребца.

Иностранцы молчат. Мертвая тишина, вопреки всякому правдоподобию, проглатывает даже слабые всплески весла. Гондола Верди поравнялась с маленькой флотилией. Но, словно по велению хитрой судьбы, гребец не стал ее обгонять, а тихо пустил свою лодку на небольшом расстоянии, вровень со средней из трех чужих гондол. Вагнер сидит слева, подле жены. Его голова с выступающим лбом, похожая в ведьмовской игре лунного света на эмбрион, откинута назад,

и глаза закрыты. Могучая внутренняя жизнь, от которой эта голова вибрировала, как машина под чрезмерным напряжением, любовь и ненависть в каждой черте, воля к овладению и покорению – всего этого больше нет. Может быть, человек поддался великому утомлению, сну, усыпляющему ритму гребли, опасному действию лунного света? Спит он, бодрствует? Или дремлет, наслаждаясь волшебным часом Венеции?

Маэстро, напряженно всматриваясь в лицо немца, приподнялся на своем сиденье.

Так вот он каков – тот, чье имя, чье влияние, чье существование, чья тысячеликая тень преследует его почти двадцать лет. Взгляды их не скрестятся, теперь можно наглядеться досыта. Два десятилетия, где бы ни прочел он хоть слово о своем искусстве, рядом, названное или неназванное, неизменно возникало имя Вагнера и гасило его собственное имя. И не только публика, даже друзья – близкие, ближайšie – в затаенной досаде изменили свое отношение к нему. И тут ему вспомнился талантливый Анджело Мариани – какую глубокую, подлинную боль причинил ему этот человек.

С насмешкой нарушил дирижер свое слово, цинично, точно имел дело с какой-нибудь бездарью. Он отказался вести премьеру «Аиды». А почему? Потому, что это его больше не интересовало. Его честолюбие простиралось дальше: он хотел поставить «Лоэнгрина», даже «Тристана». И не один только Мариани оказался Иудой-предателем. В каждом суж-

дении, в каждой похвале, в каждом поздравлении, в каждом изъявлении восторга, даже когда его превозносили до небес, Верди чувствовал каплю яда; в переписке, в дружеских беседах, в робком перешептывании прохожих, когда его узнавали на улицах Генуи, Милана, Пармы, в том покровительственно-почетном приеме, какой недавно оказал ему Париж, – во всем ощущал он скрытое оскорбительное снисхождение; во всем – даже в отношении к нему жены. Но как это назвать? Не охлаждение, не отсутствие любви и не пренебрежение – нет... Что-то неуловимое. А все-таки в каждой интонации изошренному уху композитора слышалось: «Ты великий мастер! Ты слава Италии! Ты памятник! Но и хватит! Опера выросла из пеленок, миновала эпоха рыцарей на сцене, красивых мелодий и театральных неистовств. Ты жил, пожиная лавры. Будь доволен и тем!»

Да, именно так! Немецкий педантизм высказал о нем, об итальянской мелодраме свое предвзятое, подлое мнение, и оно победило во всем мире, утвердилось не только в Париже, но и здесь, в его родной стране, завоевало молодежь и лучшую часть общества.

Ах, этот горький осадок на дне души не был чем-то суетным, не был обидой или завистью! На упоительном пиру славы ему, Верди, досталась львиная доля. С него достаточно, он сыт по горло, он больше ничего не хочет получать. Но он хотел бы давать и давать, он еще должен отдать самого себя.

И не может!

Десять лет, десять лет в том возрасте, когда каждая секунда – подарок судьбы, он отбросил впустую. Десять лет прожил в праздности – бесполезным, жалким. Десять лет он мертв. Просто мертв? Нет, убит! Его убил он – этот дремлющий, ничего не подозревающий враг!

В гневном порыве маэстро встал со скамьи. Недвижно мерцал исполинский череп Вагнера. Жена тревожно всматривалась вдаль. Стоя так – во весь рост и в чудовищном, все изменяющем свете месяца, видя, как борт соседней гондолы почти касается борта его собственной, Верди подумал: «Так близко, что можно рукой схватить». Но в его смятенном мозгу, в котором глухо бродили еще понятия «смерть» и «убийство», слова перепутались. Маэстро почудилось, будто он мысленно оговорился: «Так близко, что можно убить!» Изумленный и пристыженный, он упал на скамью.

Нет, в нем не было ненависти. Он смотрел, как прекрасным, чистым видением беспомощно проплывает мимо Вагнер. Враг, супостат, противник в той борьбе, что длилась сотни бессонных ночей, стал для него дороже всех на свете. До сих пор он избегал встречи с противником лицом к лицу. Когда его ревностные приверженцы приносили ему на посмеяние вагнеровские партитуры и аранжировки он их бегло просматривал, перелистывал и, в смутном страхе перед самим собой, откладывал в сторону. Он знал только «Лоэнгрина» – слышал его как-то в венской придворной опере. Но тогда его беспокойство обернулось химерой. Он вышел из

театра равным противнику, если не более сильным. Мои мелодии, сказал он себе, чище, мои ансамбли вдохновенней. Неподкупный судья, он чувствовал тогда: «Это хорошо, а то плохо, это место слишком растянуто, то пустовато». Может быть, весь его страх напрасен и другие шедевры Вагнера все не уничтожают его, Верди? Верно ли все то, что ему давали понять разные спесивцы, – будто немец презирает его оперы, его стиль? Не может разве гениальный художник постичь правду другого народа?

А полчаса назад, когда в полутьме театрального коридора скрестились два чуждых взора, разве не увидел он в глазах Вагнера огненную вспышку, не прочел в них высшего признания, призыва, ищущего наперекор всей розни, наперекор случайным различиям рождения, национальности, воспитания, – призыва: «Приди ко мне!..»

«Я – Верди, ты – Вагнер!» – тихо произнес про себя маэстро эти слова; и едва прозвучали они в мозгу, как сам собой разрешился тот – прежний вопрос!

«Не ради Виньи, не ради умирающего друга приехал я в Венецию – нет! Я приехал сюда, чтобы видеть Вагнера, чтобы встретиться с ним. Бог весть зачем! Мы оба стары. Родились в одном году. Он движет всем, он властвует... Я робок и нем, все тот же застенчивый мужичок из деревушки Ле Ронколе. Да, вот она правда!»

Резко и четко, как слишком ярко освещенная кулиса, приклоненная к стене, встал фасад Палаццо Вендрамин. Три

гондолы причалили.

Равнодушно, не замечая их, четвертая поплыла дальше.

Минуту спустя маэстро спросил у гондольера, который час.

– Четверть одиннадцатого, сударь, даже немного больше.
Нам к вокзалу?

– Мой поезд отходит только в половине третьего.

– А! Скорый на Милан?

– Поворачивайте назад, проедем в Сан Поло!

Приезжий назвал адрес.

Гребец повернул лодку. Пассажир укрыл колени дорожным пледом. Необычно мягкая декабрьская ночь теперь дышала морозом.

Глава вторая

Столетний и его коллекция

I

Человек, отворивший дверь, поднял к лицу маэстро фонарь. Это был сам сенатор.

Он узнал друга, весь его облик выразил радушие. Молча отставил он сперва фонарь, потом обнял гостя.

– Боги не лгут, мой Верди! Мне снилось этой ночью, что я тебя увижу.

Эти простые слова – искренние, несмотря на свой античный строй, – обдав маэстро волною любви, смутили его.

Панцирь стыдливости и одиночества, стесняя все его движения, делал его беспомощным перед всяким откровенным проявлением чувства; раскрывать себя было для него пыткой.

Стиснув зубы, до боли задерживая дыхание, стремительно выбегал он, бывало (как часто!), к рампе после финала премьеры, когда публику уже никак нельзя было унять, когда директор театра, выкатив глаза, рвал на себе волосы и жалобно молил его не вредить успеху, а певцы в исступлении выталкивали его вперед. И затем так же стремительно

убегал.

Той же мукой было для него всякое обнажение души. Одна певица могла похвалиться, что после заключительного аккорда в знаменитой сцене «Макбета» видела слезы на глазах маэстро. Но он ей этого не прощал всю жизнь.

И не только ему самому было почти невозможно преодолеть свою природную сдержанность – его пугало, когда другой открывал перед ним душу. Впрочем, неприязненные чувства – вражду, гнев, ненависть – он переносил легко; любовь и доброта вызывали в нем глубокий стыд. В слове была смерть.

Его не понимали, порицали за холодность, черствость, высокомерие десятки лет!

Верди долю жал руку сенатору, потом, прикрывая смущение свойственным ему чуть насмешливым юмором, он сказал с несколько деланным спокойствием:

– Ну вот! Раз ты упорно игнорируешь мои приглашения и показываешь свою злую физиономию раз в десять лет, я сам сюда нагрянул, друг.

II

Сенатор – так мы будем его называть, хоть он уже много лет сложил с себя пожалованный королевским правительством сан, – бы лиз тех, чье имя весьма почиталось в эпоху Рисорджименто. Сын человека, который только по милости-вой прихоти Франца-Иосифа Первого и инквизитора Антонио Сальвотти избежал эшафота, он с тридцать пятого года – с двадцать третьего года своей жизни – активно участвовал в революции на всех ее этапах.

Слабость к идеалистическим утопиям не оставляла его всю жизнь. Сперва приверженец религиозного мечтателя Джоверти, он стал затем ревностным последователем Мадзини, который был старше его только на восемь лет, и в нем – уже неизменно – видел своего любимого учителя. На стороне Мадзини и Гарибальди он сражался у ворот освобожденного Рима против поповского ставленника – французского генерала Удино, которому была поставлена задача восстановить в Латеране Пия, трусливо сбежавшего в Гаэту.

Упоительные дни Римской республики остались для него великой порой его жизни. Позже он оказался в числе тех немногих, кто добровольно разделял в Англии изгнание с великим социологом и патриотом.

Если сенатор и не стоял в ряду первых славнейших во-ждей и героев «Молодой Италии» (для крупного политиче-

ского деятеля он обладал слишком мягкой, лирической натурой), то все же он был ближайшим другом великих; более того — был вдохновителем, человеком инициативы, которого очень ценили в совете заговорщиков.

Впрочем, ореол великой эпопеи озарил в конце концов и его имя. На революционной декларации Венеции оно стояло непосредственно под именами Манина и Энрико Козенцы. А двадцать лет спустя премьер-министры, особенно Ланца, напрасно старались завербовать его в свои кабинеты.

После успешного объединения Италии он был призван в Сенат Третьего Рима. Один год он оставался сенатором, почитая это патриотическим долгом. Но потом, после установления королевской власти, его, как и других революционеров-демократов, постигло большое разочарование; в пламенной надежде прошли они через юношескую бурю века, чтобы вместе с ним пережить его дряхлый, изнеженный закат. После краткого упоения победой, которое лишь на одно мгновение заглушило горький голос правды, республиканец и мадзинист сложил с себя сенаторское звание, пожалованное савойцем.

Прямым толчком к этому поступку послужила смерть его героя и учителя, который в том же году, не примирившись с создавшимся порядком, умер в Пизе.

Ни одно историческое поколение современность не осудила так несправедливо, как поколение наших дедов, которым выпало родиться в первом или втором десятилетии про-

шлого века. Их чистая идея свободы, их душевная простота, их здоровая страсть к борьбе, их отвага, стремление к независимости как личности, так и общества в целом – все это принижается сейчас ругательной политической кличкой: «либерализм». Дух романтики одержал победу над духом сорок восьмого года. Дух романтики, приверженец всех священных союзов, служитель всяких сомнительных авторитетов, этот дух безумия – поскольку безумие является бегством от действительности, – этот демон неудовлетворенных и поэтому выпренных душ, этот Нарцисс, склонившийся над бездной, которая дразнит его сладострастной щекоткой, этот бог запутанности и мракобесия, идол умерщвленной плоти, запретных соблазнов, ханжеского позерства и извращенной похоти, толкающей к насилию, – злой дух Романтики, повсесветно несущий террор, эта чума Европы, победил самую жизненную молодость, чтобы властвовать по сей день.

Сенатор, друг Верди, воплощал в себе поколение 1848 года. Высокий, грузный, с водянисто-голубыми глазами навывкате, с явной склонностью к зобу, с большим апоплексически багровым лицом, обрамленным львиной гривой и короткой бородой, он, едва появившись, сразу заполнял своей шумной фигурой любую комнату и тотчас живою силою притяжения привлекал к себе общество. Прибавьте к этому низкий полновзвучный голос, влагающий мелодию в каждую фразу, и нутряной смех, сводящий на нет всякое возраже-

ние.

Сенатор, будучи ровесником маэстро, следил за его ростом с ненасытной маниакальной страстью к музыке. В годы первых успехов Верди, со времен «Набукко» – оперы, которая своею мелодичностью, возвышенной и задушевной, вырвала итальянскую публику из слащавой рутины, – со времен «Набукко» сенатор не пропускал ни одной премьеры друга. И всегда почти он задерживался в городе, где ставилась опера, на третье и на четвертое представление, как бы спешно ни отзывали его дела. И часто эти поездки – в дилижансах, по дурным почтовым дорогам, при хитроумных придирах австрийской, римской, неаполитанской полиции – являлись истинной жертвой этой музыке, которая сильнее всякой другой опьяняла его кипучую натуру.

В доме графини Маффей гостей нередко рассказывали анекдот о том, как при постановке «Корсара» в Триесте сам композитор, вопреки договору, не явился на премьеру, но сенатор прибыл вовремя.

Музыка Верди славилась тем, что она завладевала даже безнадежно немзыкальными людьми. В пример приводился обычно случай с Кавуром: рассудочный человек, мастер сложной интриги, лишенный всякой музыкальности, Кавур в 1859 году, получив известие, что замысел его увенчался успехом, распахнул окно на кишашую народом площадь и, не находя слов от волнения, надтреснутым голосом хрипло

и фальшиво запел стретту из «Il Trovatore».⁷

Самого сенатора никак нельзя было назвать немзыкальным. Для любителя и для итальянца той эпохи он даже обладал незаурядным музыкальным образованием. В прекрасном стремлении постигнуть разумом внятное сердцу, он занимался, правда один только год, теорией музыки у Ангелези, большого знатока контрапункта. Он прилежно помогал Мадзини в задуманном им обширном труде о музыке. Попав на несколько месяцев в Германию, он слушал превосходные оркестры ее столичных городов, знакомясь с северной симфонической музыкой. Кроме того, он сам играл на рояле, флейте и гобое.

Он знал музыку и умел разбираться в разнообразии ее воздействия.

Французская музыка ему претила, предлагалась ли она ему в комической опере или в произведениях Тома, Гуно, Массне. Он питал неприязнь прямолинейного страстного человека к изящному, сладкому и обольстительному, к так называемому «грациозо».

Немецкая музыка нового века тягостно действовала на него. Она его наполняла неизбывным томлением; порой она дарила краткое и грустное блаженство, но тотчас вновь подпадала под власть мрачного рока, которого не отвратят ни слезы, ни сопротивление.

Сенатор сказал как-то Верди:

⁷ «Трубадур» (итал.).

– Германия совсем не холодна и не сурова. Но там всегда идет дождь.

И Верди невольно вспомнил, как еще молодым человеком он стоял однажды в отчаянии на Вайдендаммерском мосту, окутанный серостью, в море серой бесконтрастности, безнадежно погрязнув в полифонии серых полутонов, серого шума, среди раздраженных и серых людей. Он тогда едва сам не поддался этой подлой серой меланхолии.

В том же разговоре – это было в начале франко-прусской войны – сенатор спросил друга, как он смотрит на Девятую симфонию Бетховена.

У Верди засверкали глаза.

– Видишь ли, – ответил он, – есть боги, которым и строптивый должен приносить жертвы. Здесь ничто не поможет. Я, однако, сумел сохранить ясную голову. Три первые части хороши. Последняя часть – провал, пустое, бесчувственное нагромождение звуков. Эгоист – теоретически – «обнимает миллионы».⁸ Когда они начинают петь, эти сверхцивилизованные, они показывают себя варварами. – Но, помолчав, добавил: – Всему виною камерная музыка.

Но музыкой, которая захватывает, берет за живое, проникает в самое сердце – *cor cordium* (как выражался он в своем пристрастии к классике), – была для сенатора музыка друга,

⁸ Гениальный финал Девятой симфонии, которому здесь дана такая несправедливая оценка, написан для хора, солистов и оркестра на текст «Оды к радости» Ф. Шиллера («Обнимитесь, миллионы...»).

товарища юных лет.

Одной из многих неисследованных тайн в жизни поколений является то, что наш язык (то есть весь мир чувствований и мыслей, нервных ощущений и подсознательного, всего, что рвется выявить себя через язык) непосредственное и чище всех понимают родившиеся под одними с нами звездами. Вся смертность искусства, человеческого самовыражения, заключена в этой тайне поколений, равно как и его бессмертие, – потому что вновь и вновь поколения рождаются под сходным расположением звезд.

Мелодии Верди действовали на сенатора, как горный ключ на изнывающего от жажды путника. Когда они звучали, его затылок, и без того сангвинический, краснел еще сильнее, глаза расширялись, загорались диким весельем, рот раскрывался, дыхание, следуя коротким тактам аккомпанемента в басу, шло возбужденными толчками, тело напрягалось каждым мускулом и накапливало энергию, готовое к электрическому разряду. Степень и род напряжения, естественно, соответствовали характеру исполняемого номера. Адажио, анданте, ларго, лирически-певучие вводные кантабиле к арии или вокальному ансамблю приносили покой и счастье. Но когда темп нарастал и мелодия через раскат коротких трагических выкриков или через цепь внезапных полноразвучных аккордов бурно переходила от аллегро аджитато к престиссимо,⁹ – тогда грудь сенатора до отказа наполнялась

⁹ Музыкальные обозначения самых быстрых темпов.

дыханием, как наполняется паром котел, и вдохновенная сила потрясала все его существо, ища выхода в возгласе, в пении, в бездумном ритмическом раскачивании торса.

Но и после такого мгновенного внешнего воздействия каждая вновь воспринятая мелодия продолжала жить как некое внутреннее переживание, которое не оформляется в сознании и которое душа извечно носит с собою в своем странствии в мирах. Но эти мелодии не только восстанавливали жизненную силу, они возрождали и нравственно. Когда бы ни вспоминались они сенатору – за работой ли в его кабинете, на людях ли (в те времена, когда ему еще приходилось вести переговоры, произносить речи), – тотчас у него являлось чувство, будто стал он лучше, стал роднее людям.

Целительная сила исходила от них. Однажды в жестокой лихорадке сенатор сам себя вылечил тем, что час за часом мысленно пел про себя эти бурные мелодии. Он блаженно заснул, и во время сна болезнь от него отступила.

В те часы всего настойчивее вызывал он вердиевские кабалетты¹⁰ и стретты – те осмеянные «симметрические периоды», которые так наивно смотрят на музыканта с нотной страницы, в действительности же проносятся ураганом над толпой в скрытом или откровенном унисоне.

Отстаивая как-то в споре эти кабалетты и всю музыку раннего Верди, сенатор высказал такое суждение: «От экспирации (выдоха) зависит больше, чем от инспирации (вдоха)».

¹⁰ Небольшие арии (*итал.*).

Так говорила та благородная, обращенная к реальному миру молодежь, которая, если бы ее не раздавили, повела бы Европу к совсем иной судьбе, чем победоносная романтика, от ядовитых плодов которой мы корчимся в судорогах и сегодня.

III

Два друга все еще стояли в узком подъезде венецианского дома. Обоими владела стесненность, как бывает часто у близких друзей, когда они долго не виделись, но все время много друг о друге думали. Более откровенный, сенатор первый стряхнул с себя скованность.

– Право, это замечательно, Верди! Сiju я с сыновьями наверху за столом. Мы, как всегда, рассуждаем и спорим. Что еще прикажете делать отцу с сыновьями, когда те великодушно подарят ему вечер?! (Ох, ты счастливец!) Вопросы культуры, вопросы искусства... Под старость становишься болтуном и домоседом. В споре мне захотелось вдруг по какому-то поводу вернуть твоё имя. Но я этого не сделал. Почему? Потому что в эту минуту мне вспомнилось, что ночью я видел тебя во сне. И тут раздаётся звонок – прямо как в пьесе. Итало хочет пойти отворить. Я его удерживаю. И пока я отыскиваю ключ, беру фонарь, схожу по лестнице, я твердо знаю, что это ты стоишь у дверей.

– Кому и быть, как не мне! В одиннадцатом часу! Но ты успеешь выспаться. Я ночным поездом еду обратно в Милан.

На лице сенатора выразился горький упрек. Маэстро почувствовал, что должен оправдаться.

– Я провел здесь, в Венеции, друг мой, всего лишь несколько часов – приехал на один день. Навестил несчаст-

ного Винью. Одна из тех безотчетных причуд, которым я, к сожалению, часто поддаюсь последнее время.

Сенатор потащил Верди за собой.

– Идет! Используем хоть тот час, которым ты располагаешь! Но как это необычайно!

Поднявшись по лестнице, они очутились в темной передней, которая доказывала, что очень многие венецианские дома только кажутся тесными и ветхими. За облупленными и обшарпанными фасадами часто скрываются огромные пышные залы, и нам чудится, когда мы в них вступаем, что в этом городе чувство пространства изменило нам. Гостиная оказалась просторной и высокой комнатой и смотрела четырьмя огромными окнами на тихий и чистый канал.

В убранстве комнаты полностью отсутствовала безвкусная пышность, присущая почти всем домам венецианских патрициев, на ней не было отпечатка музейности, который создается тем, что вся мебель, люстры, зеркала унаследованы новым временем от великого венецианского прошлого. Но ветер минувших времен не освежит вас в этих skleпах; При всем своем пристрастии к гуманизму, сенатор ненавидел всяческую антикварность; и Венецию, поскольку она представлялась ему огромным амбаром, где скоплен урожай с нивы многих веков, он тоже не любил. Однако в злобе на Рим и Милан он предпочел обосноваться в своем родном провинциальном городе.

– Смотри, – сказал он другу, – у меня ты не найдешь пра-

дедовской рухляди. По мне, она хлам для старьевщиков, и только. Проклятое время! Бесплодная молодежь! Сочиняют стихи а-ля Гораций, драмы а-ля Софокл, пишут картины а-ля чинквеченто,¹¹ делают политику а-ля Византия... а-ля... алля-алля, великий аллах! Сплошной снобизм, дорогой мой.

И правда, в этой благородной старинной зале все, казалось, выражало протест ее исконному стилю. Так, в великолепном мраморном камине, доказавшем свою непрактичность, стояла раскаленная чугунная печурка, а сверху на доске, перед красивым своеобразным зеркалом, горела керосиновая лампа самого обыденного образца.

У окна примостился рояль, заваленный кипами нот. Широкую стену напротив заняла библиотека – фаланги книг, которые жались друг к другу, натрудившиеся, потрепанные. Перед стеллажами стояла лестница, на двух столах лежали фолианты. Несмотря на неприязнь ко всему антикварному, классическая филология была любимым занятием сенатора.

Когда друзья вошли в комнату, из-за массивного стола, стоявшего посередине, встали два молодых человека – сыновья сенатора: Итало и Ренцо.

Итало – высокий, очень тонкий, в безукоризненно сшитом фраке; на красивом аристократическом лице ироническая улыбка, к которой так охотно прибегают все неуверенные в себе честолюбцы. Ренцо, названный так в честь героя поэ-

¹¹ Стиль позднего итальянского Ренессанса («пятисотых годов», то есть XVI века).

мы Манцони, вялый увалень, придерживал на коротком носу сломанные очки в облезлой никелированной оправе. Этот двадцатилетний юноша, чье рождение стоило жизни его матери, подражал в одежде русским и немецким революционерам, которые в те времена искали убежища в Швейцарии. Год назад в Риме он стал учеником историка-материалиста Лабриолы. Теперь он приехал на зимние каникулы к отцу.

Юноши, узнав гостя, бюсты которого неизменно украшали спальню их отца, стояли навытяжку, как солдаты. В присутствии знаменитого или значительного человека молодых людей, в их еще несломленном честолюбии, охватывает тщеславное волнение. Почти эротическое стремление показать себя (блеснуть перед незримой женщиной) пробуждается в их сердце при виде того, кто уже всего достиг.

— Мои сыновья! — Сенатор представил их несколько брюзгливым тоном.

Итало и Ренцо невольно склонились в глубоком поклоне, когда маэстро протянул им руку.

Верди и сам, не только его слава, производил очень сильное впечатление на всех, кто знакомился с ним. Но он не обвораживал, не привлекал, а скорее внушал какую-то робость, и долго-долго молва несправедливо называла это холодом. Дальновзоркие синие глаза под нависшим лбом, в которых, как это часто говорится о голосе чувствовался металл, у многих вызывали беспокойное сомнение: правильно ли я себя веду?

Сыновей сенатора, как видно, смутило то же чувство, потому что оба они отвели глаза. Но, точно усиленное жаждой реванша, на их еще ребяческих лицах появилось вскоре первоначальное выражение; у Ренцо — подчеркнуто равнодушной решимости, у Итало — иронической учтивости, чуть преувеличенной от нетерпения и высокомерия.

Сели вчетвером за стол. Сенатор, согретый глубокой радостью, был полон удовлетворения и гордости. Сейчас он был бы способен на добрый порыв, на подвиг и дерзание, если б его пыл не гасило сдержанное обращение друга, сознание, что его любовь не встретит столь же сильного отклика.

Мальчик-слуга стоял в дверях; откровенное любопытство отражалось на его лице.

— Санто! Подай мое санто!

Когда заветное темно-золотистое санто засверкало в хрустальных бокалах, сенатор начал очень обстоятельно рассказывать об этом вине, производившемся в его имении: о прививке винограда, об уходе за ним, о выдерживании вина. Эта тема оживила и маэстро, и он в свою очередь рассказал, как посадил у себя в Сант-Агате бордоскую лозу, как при каждой своей поездке во Францию норовил тут и там выведать что-нибудь о способах изготовления красных вин; и как теперь он мог наконец похвалиться, что держит в своем погребе вино, которое ничуть не уступает лучшему бордо и, не в пример итальянским винам, только выигрывает с годами.

Во время этого разговора оба старика отнюдь не произво-

дили впечатления гурманов, а скорей напоминали двух зажиточных крестьян: сидят вечерком после базарного дня в кабачке захолустного города, беседуют о купле-продаже, о погоде и урожае.

– Постой, ты ведь куришь!

Сенатор нервно пошарил в поисках ключа, бросился к ящику и методично отпер его. Он нагромоздил перед Верди гору коробок с гаванскими сигарами. Тогда и в лице маэстро зажглось на миг нечто вроде жадности. Они перебирали и нюхали сигары всех марок: «Генри Клей», «Упман», «Бокк», «Роджер», «Карваяль» – длинные узловатые сигары, потолще и потоньше, тупо обрезанные и заостренные, с широкими и узкими колечками, сигары в свинцовой обертке.

Мужественный, чисто растительный запах американского табака. Распространился вокруг. Сенатор особенно расхваливал один сорт, присланный ему в подарок офицером, который некогда состоял на службе в южных штатах. Друзья закурили две большие сигары в зеленых крапинках. Насыщенный гармонией благоуханный дым поднялся к темному потолку.

– Эх вы, с вашими глупыми папиросами, – со вздохом сказал сенатор сыновьям, точно сокрушаясь о женственности нового поколения.

– Я не курю, отец, – поучительным тоном сообщил Ренцо, который к тому же и не пил.

Маэстро смерил взглядом молодых людей, потом обра-

тился к отцу и сыновьям:

– Мне очень жаль, господа, если я помешал вашей беседе...

– Вздор! Я этим не хотел сказать ничего другого.

Бросив свое восклицание, непонятное и необоснованное, сенатор отер лоб, взмокший от слишком сосредоточенного возбуждения.

Верди вопросительно посмотрел на него.

– Вздор, и только! Ты меня знаешь! Видит бог, я не *laudator temporis acti*.¹² Но мы стоим уже на вершине горы и показываем нашим детям обетованную землю. Да! Благодарю покорно! Они снова спустятся вниз по другому склону. Один мой знакомый, некто Паллавичино, отослал Виктору-Эммануилу, сыну предателя, свой (правда, всего лишь позолоченный) орден Аннунциаты. И это сделал старик! А что нынешняя молодежь?! К чему были все наши порывы, заряженные динамитом слова и дела? Чтобы шайка пошлых льстецов и карьеристов, вымазав рыла во вчерашнем навозе, искала позавчерашние зерна? Дорогой мой Верди!.. – Сенатор жадно глотнул в одышке воздуха. – Верди, мне теперь думается, что мы с нашей патриотической моралью, с нашими идеалами были пустые болтуны, а современные заправила, чего ни коснись, гораздо лучше во всем разбираются. Они же реалисты...

Застыдившись, что сделал промах и что выразился неяс-

¹² Тот, кто славит былое время (*лат.*).

но, сенатор стукнул по столу кулаком и повторил брезгливо:
– Реалисты!

Как будто этим безобидным словом весьма растяжимого смысла пригвоздил врагов к доске.

Ренцо посмотрел на отца взглядом человека, который умеет признать крупицу истины в чужом мнении, даже если оно высказано неполноценными некомпетентным противником. Итало сорвал свою досаду, незаметно отвесив сенатору дерзкий поклон.

Верди с тихой улыбкой неодобрения повернулся к другу, как бы показывая, что справедливость для него важнее всего.

– Эх, старина! Конечно, среди нас больше было фразеров, позеров и горлодеров, чем честных людей. Но и честные все же были. Почему же сегодня окажется иначе, чем было вчера, чем бывало всегда?

Итало с изысканной вежливостью кивнув в сторону Верди, робко произнес:

– Благодарю вас, синьор маэстро: папина филиппика была направлена прежде всего против меня.

Как часто бывает с добродушными людьми, сенатор болезненно почувствовал, что допустил несправедливость. Но, сам страдая, он заговорил еще возбужденней, еще туманней и обидней:

– Ты тоже хорош! – Он не глядел на сына. – Тебе что... Испанский претендент милостиво принимает тебя в своем

дворце, вся эта милая компания – Мочениго, Морозини, Альбрицци, Бальби, Колальто – находит тебя очаровательным... Это для тебя предел мечтаний!

Итало обладал неоценимой способностью становиться в гневе спокойным, – преимущество людей, которым никогда не изменяет сознание своей обаятельности. И теперь он сумел сказать вполне учтиво, без тени раздражения:

– Папа, чем же это общество хуже всякого другого?...

Но, смущенный присутствием маэстро, он покраснел и смолк. Теперь и Ренцо вмешался в разговор:

– Ведь мы вели отвлеченную беседу, отец; к чему же личные выпады?

Верди без слов дал понять, что и он в данном случае предпочитает отвлеченную беседу. Ренцо стал в позу:

– Обсуждался вопрос: можно ли мыслить искусство в пределах человеческого общества вне какой-либо цели... Нет, цель – не то слово... смысла... задачи...

Юный теоретик смутился, начал запинаться:

– Является ли слушатель... входит ли слушатель в драматическое или музыкальное произведение составною частью, столь же необходимой, как сама эта драма, эта музыка? Или же произведение искусства живет независимой жизнью...

Сенатор, вскочив со стула, перебил:

– А я вам говорю, у искусства одна-единственная цель – воодушевлять и возвышать людей. Все прочее не искусство, а экскременты больного честолюбия.

Итало и Ренцо с одинаковой иронической снисходительностью относились к своему запальчивому отцу. С простоватой самонадеянностью мальчика, только месяц назад овладевшего ученой терминологией, Ренцо, дав сенатору договорить, продолжал наставительно:

– Лично я стою на той точке зрения, что ни одну часть сложного социально-экономического организма нельзя рассматривать как нечто независимое. «Если ты хочешь понять, что такое часовая стрелка, загляни в механизм часов», – говорит пословица.

– Опять ты со своими Лабриолой и Марксом! – Сенатор снова сел. – Маэстро! Здесь ты один можешь быть судьей.

Верди хуже черта ненавидел такого рода «разговоры об искусстве». И все же в бесчисленных морщинках вокруг его глаз снова заиграла пленительная улыбка:

Не знаю, способен ли я правильно судить, – ведь я уже давно не создаю того, что называется «произведениями искусства». Но как агроном, как сельский хозяин, я, коль угодно, могу сказать, что все растущее, хоть оно и растет безусловно только ради самого себя, в конце концов становится кормом.

– А цветы, маэстро?

Итало вполне логично ввернул свое возражение. Однако сенатора задела дерзость его правоты. Его опять подстегнуло осадить своего первенца.

– Цветы, цветы! Хорошенький цветок твой Вагнер!

Имя было названо. И на мгновение, хотя исходила она, конечно, не от маэстро и не от сенатора, ни тем более от его ничего не подозревавших сыновей, установилась торжественная напряженность. Сенатор, который сегодня, как это часто с ним бывало в часы душевного волнения, пытаясь исправить оплошность, делал за промахом промах.

– Итало, знаешь ли, играет на скрипке. Он сегодня участвовал в симфоническом оркестре молодежи, исполнявшем Вагнера. Кстати сказать, он понимает толк в рекламе, этот бог современной музыки! Выйдешь ты в полдень на Пьяццу¹³ прогуляться на солнышке и выпить вермута у Флориани или Квадри и со всех сторон слышишь в публике: Вагнер да Вагнер! Н-да!

Итало точно подменили. Самодовольная улыбка исчезла, уступив место тому экстазу, который в фойе театра Ла Фениче горел на лицах молодежи, обступившей немецкого мастера. Положив руку на сердце, юноша обратился к гостю:

– Вы, конечно, знаете Рихарда Вагнера, синьор маэстро?

– Нет, я его не знаю. У меня очень мало знакомых.

– Жаль, жаль!

В глазах молодого человека секунду медлило раздумье.

– Но его музыку, эту бессмертную музыку, должны же вы знать и любить?

Сенатор расхохотался.

Верди стал холоден как лед и, точно считая молодого че-

¹³ Площадь (*итал.*). (Здесь имеется в виду площадь перед собором св. Марка.)

ловека слишком ничтожным, повернулся к неприсутствующему в комнате лицу и к нему отнес свой ответ:

– Из музыки Вагнера я знаю «Тайгейзера» и «Люэнгри-на», а более поздние его произведения – только по отрывкам. Мы – итальянцы. Принцип нашей музыки в корне отличен от немецкого. Немецкая музыка покоится на так называемых темперированных инструментах, как рояль и орган, на отвлеченных, пожалуй, только лишь теоретически существующих нотах. А наша, итальянская, – на свободно льющемся голосе, на пении, на вокальности. Мы должны знать, кто мы родом.

Эти слова, как ни тихо и спокойно были они сказаны, звучали так определенно, так явно подводили итог долгой борьбе и терзаниям, сомнениям и победам, что они, как слова властителя, падали слишком веско для обыкновенной комнаты и вызывали замешательство.

Сенатор обрадовался, когда вошел мальчик-слуга и доложил: – Господин маркиз только что изволили вернуться из театра.

– Господин маркиз каждый вечер изволит возвращаться из театра. А где сегодня был спектакль?

– В театре Россини!

Слуга не уходил. Хозяин удивленно посмотрел на него.

– В чем же дело?

– Господин маркиз просят о них доложить.

– Вот как! Великая, редкая честь! Ренцо, иди! То есть... –

Сенатор посмотрел на Верди. – То есть... если только ты ничего не имеешь против...

Маэстро взглянул на часы.

– Что за маркиз?

– Наш домохозяин. Старый болван. Гритти!

– Гритти? Гритти?! Как! Знаменитый столетний старец?

Да, ему за сто. Утешительно для нас с тобой, мой Верди.

– Я га живая легенда, эта сказка восемнадцатого века – твой домохозяин?

– Да, он владелец этого дома, владел им еще в те годы, когда тут был театр. Шестьдесят пять лет тому назад он велел его перестроить.

– Гритти! Гритти! Тот самый, который с тысяча семьсот девяностого года – или, может быть, черт его знает, с тысяча шестьсот девяностого – каждый вечер ходит в театр! Призрак...

– Он-то на даты не поскупится.

– Я познакомился с ним... – маэстро подумал секунду, – в Петербурге. Лет двадцать пять тому назад. Каждый вечер он сидел в ложе Мариинского театра. Он был в то время папским *ambasciatore*.¹⁴ Преклонный возраст, по-видимому, несколько не смущал его. Борода и волосы были у него черные, и даже с лиловым отливом.

– Он, верно, узнал, что ты здесь, и хочет показать тебе свою сокровищницу. Она весьма своеобразна.

¹⁴ Посол (*итал.*).

Снаружи донесся звонкий, небрежно протяжный голос, характерный для светских людей, когда они учтиво-беззащитной манерой говорить отводят все возражения, прошлое и будущее. Вместе с тем этот голос пользовался совсем особенным языком: он был как будто итальянским, однако в произношении и оборотах носил черты того смешанного, нарочито беспочвенного жаргона, того волапюка, какой усвоили себе дипломаты, дабы отмежеваться от прочего мира.

Голос, несомненно, обладал властностью, — недаром все глаза устремились на дверь, когда она медленно отворилась и впустила из черноты привидение, за коим выступали разрезвившийся Ренцо и седовласый, невозмутимо важный лакей.

В очень новом, очень модном фраке, в белоснежной, туго накрахмаленной манишке — ни складочкой, ни тенью, ни вмятинкой она не выдавала своевольной жизни кряхтевшего под нею тела, — в долгоносых парижских лакированных ботинках, надетых, казалось, не на ноги, а на колодки, задвигался по комнате в освещенном кругу автомат гран-сеньора. С правого плеча на безжизненном ремне свешивался футляр с биноклем. Одна рука, в белой лайковой перчатке, опиралась на удивительно старомодную трость с набалдашником слоновой кости. Только от другой руки, без перчатки, еще, казалось, исходила жизнь, — потому что эта рука откровенно производила впечатление мертвенности. На три четверти прикрытая съехавшей круглой манжеткой, она висе-

ла, словно иссохший почернелый трупик какого-то зверька. Череп, на котором давно не росло ни волоска, ни пушинки, был совершенно гладок и если не блестел, как зеркало, то все же производил такое впечатление, точно его разгладили утюгом.

В чертах лица было что-то равнодушное, нереальное, лежащее по ту сторону старости и молодости, бытия и небытия, что-то вовсе не существующее. Губ не было; в подвижном отверстии рта белел неестественный оскал зубов. Мощная громада носа выступала вперед и от середины, точно перешибленная, кренилась набок под тупым углом. Только в птичьем глазу, без бровей, без век, с красной каемкой, еще бродила жизнь лихорадящего животного. Высохшая шея имела в обхвате едва ли больше двадцати восьми сантиметров. Как бурые чешуйчатые наросты, нависали одна над другой складки дряблой кожи. При каждом вздохе выдвигался до смешного большой кадык. Как механик по движениям поршня следит за жизнью машины, так можно было по исправной работе кадыка наблюдать жизнь этого призрака.

Глаза маркиза уже привыкли к свету. Не останавливая взгляда ни на ком из присутствующих, он отменно изящным движением поднес ко рту обе руки – ту, что в перчатке, и маленький голый трупик – и кокетливо поцеловал большие пальцы. Этим жестом мода Венского конгресса выражала восхищение.

Потом призрак слегка наклонил свою гладкую голову, и звонкий голос, принадлежавший, казалось, совсем не ему, произнес:

– Я почитаю за счастье эту встречу с великим артистом.

IV

Андреа Джеминиано Мария Арканджело Леоне Гритти был – или называл себя – потомком небезызвестного дожа того же имени, который в начале шестнадцатого века имел перед Венецией некоторые заслуги в области музыки, скульптуры и зодчества. Этот правитель, чьей гробницей в Сан Франческо делла Винья и поныне может любоваться ревностный турист, если дерзнет преступить заповеди Бедекера, призвал к себе на службу Сансовино, создателя «Лестницы Гигантов», и поручил ему постройку Библиотеки, Лоджетты и еще нескольких замечательных зданий. Далее у Фетиса,¹⁵ Геварга¹⁶ и других знатоков музыки можно прочесть, что тот же дож покровительствовал основателю венецианской музыкальной школы Андриано Вильярте,¹⁷ творцу знаменитых «Вечерен» для Сан Марко! О сложных многоголосных композициях этого мастера, о его мотетах, мадригалах, фроттолах, о его антифонах, о его «симфониях с эхом» пущено было современниками прекрасное слово – «augur

¹⁵ Фетис – бельгийский композитор и теоретик музыки; автор «Всеобщей истории музыки».

¹⁶ Геварт – теоретик музыки и композиции; его труд «Nouveau traité d'Instrumentation» переведен на русский язык П. И. Чайковским.

¹⁷ Адриано Вильярте – итальянское произношение имени Адриана Виллаэрта, фламандского композитора XVI века; в 1527–1562 гг. он руководил капеллой венецианского собора св. Марка.

potabile» («золото, которое можно пить»).

На одного дожа, родоначальника и покровителя музыки, охотно ссылался маркиз Гритти, когда заходил разговор о его собственной музыкальности. Но что в его родословной значилось имя знаменитой поэтессы Корнелии Гритти, урожденной Барбаро, он умалчивал. Этого требовало его сословное презрение к литературе.

Свое рождение маркиз относил к 1778 году, так что сейчас ему должно было быть сто четыре года. Однако же – о бездна суеты, о неисповедимые пути человеческого честолюбия! – маркиз представлялся старшим, чем был. На самом деле он родился в 1781 году, и, значит, сейчас ему шел сто второй год.

Из всех своих страстей Гритти сохранил только две, и одна из них – страсть быть старым и становиться все старше.

Не то чтобы жизнь еще как-то интересовала его и была для него ценна – нет, но каждый день, каждый новый день сам по себе означал славу.

Давно освободившись от пут сложных человеческих взаимоотношений, от цепей какой бы то ни было судьбы, не имея ни родных, ни друзей, ни детей, непостижимо одинокий в мире, где все его моложе, он видел в жизни лишь спортивную задачу и в страстной жажде достижений ставил во славу себе самому (под воображаемые рукоплескания неведомых зрителей) ежедневно новый рекорд.

Как художник, как изобретатель, завершивший великий

замысел, он надменно проходил по улицам, ибо достиг столетнего возраста. Каждая прогулка доставляла ему удовлетворение, и ни за что не променял бы он это удовлетворение на радость юноши, окрыленного робким приветом возлюбленной.

Каждый полдень, ровно в двенадцать, маркиз появлялся на Пьяцце в сопровождении семидесятипятилетнего камердинера, который, воплощая безнадежную дряхлость, должен был оттенять твердость его собственной гордой поступи. Обычно он трижды обходил огромную площадь и останавливался здесь и там, принимая почести, которые неоспоримо подobaли его гению, оттягавшему у закона природы еще один день.

И когда с подрумяненных губ прекрасной княгини А. и еще более прекрасной графини Б. срывались лестные восклицания: «Ах, ему дашь лет пятьдесят!» – «Ну что вы – тридцать!» – он чувствовал себя, как жокей на ристалище, подхлестываемый в затылок криками неистовой толпы: «Гип! Гип!»

С бесконечным высокомерием смотрел он тогда на эти обреченные разрушению женские лица, на плохо скрытую под кремами дряблость кожи, на утраченную свежесть и будничное увядание матрон. Женщина была для него уже не женщиной, а жалким существом, которое борется без таланта и счастья. Заурядная, как все, что слишком подчинено законам природы, женщина боролась за молодость. А он, высоко

вознесенный на пьедестал избранничества, — он боролся за старость.

Бывали мгновения, когда эта борьба, или, верней, высокомерие победы, принимала демонические формы.

В день его мнимой столетней годовщины синдикат города Венеции устроил в Зале Бонапарта большое празднество. Оно должно было доставить юбиляру случай завещать свое колоссальное, уже по закону прогрессии изрядно возросшее состояние благотворительным учреждениям города. Вечер закончился невероятным скандалом.

Ужин подходил к концу, общество в благодушно приподнятом настроении. Вдруг вскакивает один молодой человек, неизвестный офицер, поздравляет Гритти и в задорной речи предлагает ему дать ответный банкет синдикату и всем присутствующим в свою сто десятую годовщину.

Маркиз встает и с полной серьезностью, без тени юмора или тихой покорности, произносит приглашение на это проектируемое празднество, как будто не допуская мысли, что через десять лет оно может и не состояться!

Слова столетнего звучат так уверенно, так высокомерно и кощунственно, что внезапно наступает тишина. Оскорбленный кардинал и патриарх Венеции, сосед по столу верного католика Гритти, наклоняется к нему и вполголоса делает ему внушение по поводу его недопустимо неприличной речи.

И тут старика взорвало: при всем своем условном благоче-

стии он не переносит, чтобы его долголетие почиталось милостью божьей, а не собственной его заслугой. Как нож, прорезают воздух его слова:

— Иду на пари с этим молодым господином и ставлю все свое имущество против тысячи франков, что пятого января 1891 года я буду угощать всех вас на банкете в моем доме, поскольку вам будет угодно или же возможно принять мое приглашение!

Тогда большая часть гостей, в том числе патриарх и почтеннейшие граждане, не прощаясь, покинули зал, где Гритти остался с толпою приверженцев, продолжавших чествовать его с удвоенным, с удесятеренным пылом.

Правда, на завтра набожный маркиз исповедался и покался. Пари тем не менее осталось в силе. Оно не принесло ему ущерба. Бойкот со стороны официальных кругов при первом же удобном случае был снят, ибо несомненно явствовало, что особа столетнего священна и стоит вне законов такта и приличия.

Как же, однако, возросло восхищение его приверженцев, как укрепился престиж старика, когда молодой человек, принявший пари, год спустя, в ночь на пятое января, скончался от какого-то острого заболевания. В последующие дни Гритти каждый час показывался на площадях и улицах победителем не только земных, но и высших сил, и в народе многие, завидев его, спешили перекреститься.

Эта неслыханная воля победить в конечном счете природу

составляла самую важную пружину его жизни; и он безошибочно, как искушенный мастер, знал, что надо делать, чтобы тело благодаря крайней экономии сил не изнашивалось. Его механизм надо понимать и щадить, как щадят тончайший и драгоценнейший инструмент. Самое главное – соблюдать мудро продуманный минимум питания, чтобы не перегружать работой невосстановимый аппарат восстановления вещества и крови, – даже почти не пользоваться им. Далее, с тонким чутьем поддерживать равновесие между покоем и движением. Мышление, даже простая смена представлений, было под запретом, ибо маркизу казалось, что мышление, как и переваривание физической пищи, есть процесс распада, родственник смерти.

Но каждый вечер, неизменно между восемью и девятью, в этом механизме вступала в действие другая, обратная сила, контрмина, и тогда обнаруживалось – в этом случае, как и в каждом другом, – что в мире ничто живущее не избежало раздвоения между богом и дьяволом. Маркиз в глубине души со всей серьезностью решил прожить двести лет и больше. Коль скоро смерть, пока не постигла нас самих, познается только по чужому опыту, то почему бы маркизу Гритти не льстить себя надеждой, что с ним будет иначе, чем с другими людьми? Истинный дворянин не склоняется ни перед чем, тем паче перед заключением по аналогии. Никто, во всяком случае, не станет отрицать безмерного величия его замысла. И в те минуты, когда старик позволял себе роскошь *само-*

любования, величайшие властители мира – от Ганнибала до Наполеона – исчезали перед ним, как перед гордой вершиной жалкие пригорки.

Над всеми движениями своего существа имел он власть, кроме одного – того, что властно захватывало его между восемью и девятью часами вечера. Тут он подчинялся стремлению делать то, что делал ежедневно, с тех пор как ему исполнилось двадцать лет: неукоснительно вновь и вновь проводить вечер в театре.

Была минута, когда он колебался: не следует ли ему насторожиться против этой потребности, не помешает ли она его намерению прожить двести лет? Но взяло верх другое, более мудрое соображение, а именно, что победа над старой привычкой потребует большей затраты жизненных сил, чем решение ее сохранить. И он так устроил свою жизнь, что это его стремление не встречало помех, а веселье, когда оно применялось с должной осторожностью, можно было в жизненном балансе заносить в актив.

Когда кончался в Венеции театральный сезон, Гритти уезжал куда-нибудь, где гастролировала та или другая труппа (как почетному клиенту, директора и антрепренеры заранее присылали ему программы своих постановок). И он убедился даже, что в умеренной дозе езда по железной дороге действовала на него благотворно. Итак, не смущаясь расстоянием, маркиз проводил лето и осень в таких шикарных местах, как Сан Себастьян, Остенден, Монте-Карло, Висбаден и Па-

риж, но непременно только там, где имелся оперный театр.

Этот обычай каждый вечер просиживать в ложе, являвшийся сперва приятной привычкой, отвечавшей его наклонностям и положению в обществе, а потом превратившийся в таинственное «должен!», хорошо знакомое невропатологам, простирался только на оперу...

Маркиз посетил театр двадцать девять тысяч триста восемьдесят семь раз, прослушал девятьсот семьдесят одно произведение, но только семь из них были драмами или комедиями.

Можно сказать, что Гритти знал почти все оперные театры в Европе, потому что он, как дипломат, объездил немало стран. Он состоял на службе многих итальянских государств. Как и положено человеку, который не обладает никакими личными качествами и выдвинулся только благодаря высокому рождению, он постепенно поднимался от атташе до секретаря и до советника посольства, до полномочного посланника и, наконец, до посла. Начал службу в Модене; затем, когда Наполеон Первый, которого он лично знал, положил ей конец, упразднив самое государство Модену, карьера сотрудника кабинетов по иностранным делам Пармы, Тосканы, Неаполя завела его через столицы германских княжеств в Париж и в Испанию, чтоб окончиться в петербургском представительстве Римской Курии.

Политическая история не запомнила имени маркиза Гритти. Служба была для него лишь необходимым заняти-

ем, подобавшим человеку его ранга. Бесконечно далека от него была теперь суматоха, то кипучая, то косная, посольских дворцов в Дрездене, Ганновере, Париже, Мадриде, Петербурге.

Незабываемы были только те двадцать девять тысяч вечеров, когда он, гордясь своей изысканной одеждой и благородной осанкой, вступал во все эти красно-золотые театры. Он ненасытно упивался возбуждающими звуками, когда оркестр в животворных квинтах и нетерпеливых диссонансах настраивает инструменты, а в ложах, наперекор всем модам века, сверкают в волнах света обнаженные женские плечи. Незабываемый, дышал через все времена запах пыли из-за кулис, где стоишь среди этих накрашенных, костюмированных, чуждых существ, как путешественник среди туземцев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.